

03.98

Муреев Рудольф

Итак, первую возможность покинуть Уфу я упустил. Дальше развернулась настоящая драма. Родители решили для моего же блага запретить мне даже мечтать стать танцовщиком. Они считали, что только так смогут подавить мою одержимость и положить конец постоянному убеганию на занятия танцем, репетиции и выступления. Я уже не был ребенком; родители говорили, что в моем возрасте они уже работали. По их мнению, наступила пора принимать решение: "Или ты бросишь школу и начнешь зарабатывать на жизнь, или получишь хорошее образование, станешь инженером, может быть, даже ученым..."

Одно время отец хотел, чтобы я стал военным. Он сам служил в артиллерии — значит, и я должен был пойти в артиллерию. Отец не хотел меня угнетать, но, сам того не зная, буквально убивал. Я его понимаю: он так долго мечтал о сыне, который пойдет по его стопам. И что в результате? В доме живет чужак — "балерина", как меня, бывало, дразнили в школе. Для отца карьера артиста была неприемлемой, легковесной и недостойной мужчины. Он был членом партии и боролся за возможность для своих детей подняться выше, чем он сам, получить образование. Он не мог понять, как можно хотеть стать танцовщиком, если есть возможность учиться (которой прежде никогда не было ни у кого из семьи), стать врачом, инженером, вообще уважаемым человеком, хорошо зарабатывать...

Артисты в представлении моего отца все были горькими пьяницами и гуляками лет до сорока, а потом — выброшенными на улицу, бесполезными отребьями. "Станешь танцором — кончишь дворником", — сердито повторял отец. Жизнь в то время была нелегкая. Что в школе, что дома — все кувырком. Мне исполнилось 14 лет. Я все сильнее замыкался в себе.

До сих пор я жил танцем. Теперь же вернулся к своим детским мечтам о спасителе, который придет, возьмет меня за руку и уведет от мелочного прозябания, от бесконечных "народных танцев" и устраиваемых на скорую руку выступлений. Но я уже вырос и потому не впал в полное отчаяние. Мечтая о спасителе, я понимал, что, ничего не предпринимая, я обречен задыхаться в провинциальном болоте. Я знал, что должен сам изменить свою судьбу. И все же в моей душе теплились лишь слабые огоньки надежды.

Поскольку дома мне запретили танцевать, — а бросить танец я, конечно, не мог, — приходилось все время лгать, изобретать предлоги, чтобы ускользнуть из дома на репетиции и занятия. Иногда я предлагал матери сходить в магазин за продуктами — и приходил домой поздно, а однажды по рассеянности ухитрился потерять продуктовые карточки, на которые семья должна была жить неделю.

Жизнь сводилась к бесконечной борьбе с препятствиями, стоявшими между мной и танцем. В школе, несмотря на достигнутые во многом благодаря мне победы на республиканских конкурсах, учителя сердились и засыпали отца жалобами на мое безразличие к учебе: "Нуриев работает все хуже и хуже... поведение ужасное... всегда опаздывает на уроки... прыгает, как лягушка, танцует на лестничных площадках..."

Роза, моя единственная союзница, уехала в Ленинград, и, казалось, никто на свете не понимал моих переживаний. Единственные приятные воспоминания тех лет связаны с концертными поездками нашего ансамбля народного танца по близким к Уфе деревням.

Вспоминая о тех выступлениях, я понимаю, что они были примитивными, импровизированными, как в старом передвижном театре. Наша труппа и реквизит помещались в двух грузовичках. По прибытии на место грузовички ставили рядом, откидывали борта, настилали деревянное покрытие, и сцена была готова. Занавес хорошо запечатлелся в моей памяти: он был сделан из хлопчатобумажной материи с круп-

ными синими цветами, как на подушках и занавесах во многих татарских семьях. От этого воспоминания теплеет на душе. Позади занавеса располагались "кулисы".

Смешно вспомнить, что всего за три года до начала выступлений на прекраснейшей сцене мира я танцевал на грузовике. Публика сидела на грубо сколоченных скамейках, и по бокам нашей импровизированной сцены висели маленькие керосиновые лампы.

Особенно запомнились два таких выступления. Однажды я должен был исполнять перед деревенской публикой танец с шестом, украшенным длинными разноцветными лентами. В конце танца шест запутался в занавесе. Я оказался в ткани, как в сети; через ткань видны были мерцающие керосиновые лампочки. Сначала я растерялся, но потом по интуиции нашел решение: сделал вид, что так и нужно, что это финал моего выступления. Публике очень понравилось. В другой раз я должен был выступать перед железнодорожниками с матросским танцем "Яблочко". Вновь со мной был шест с лентами и еще для этого танца мнешили пару очень узких матросских штанов — это был первый сценический

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ

Рос. мюз. газета — 1998 — март (№ 3) —

РУДОЛЬФА НУРИЕВА

(Окончание. Начало в №№ 1—2 "РМГ")

костюм, сделанный лично для меня: синяя шерстяная материя, застежки на бедрах. На беду штаны не успели к сроку, и пришлось одеть другую пару, которая оказалась мне сильно велика. Костюмерша подогнала штаны на мой размер, и я их надел. Как только я вышел на сцену, булавки посыпались и штаны соскользнули на пол. Публика развеселилась. В совершенной ярости я убежал за кулисы. Костюмерша вновь заколола штаны на мне, на этот раз более основательно, и я вернулся на сцену. Через несколько минут снова послышался шорох вылетающих булавок, и я вновь остался полутолым перед рассерженной публикой. Наверное, другой ребенок моего возраста сдался бы, но я заупрямился, как осел. Я умолял дать мне возможность исполнить матросский танец. Наконец, конферансье вынул голову через щель в занавесе и произнес, сильно грассируя: "Товарищ Рудольф Нуриев обещает вести себя как следует и больше не выкидывать никаких фокусов. Пусть закончит свой танец". Барабанная дробь, и я опять на сцене. Хотите верьте, хотите нет, но на этот раз штаны не падали, зато ленты на шесте не хотели развеваться — они обвилились вокруг меня, спеленав по рукам и ногам.

Вскоре после этого смешного случая, благодаря пианистке, каккомпланованной нам в Доме пионеров, мне предложили играть роли без слов в Уфимской опере — десять рублей за вечер. Впрочем, сумма меня не интересовала. Я был счастлив, у меня словно выросли крылья.

Все, что от меня требовалось, — ходить по сцене несколько

вечеров в неделю в костюме паж, нищего, римского солдата и тому подобное. Однако необходимо было посещать репетиции, и все труднее становилось пропускать школу, чтобы попасть на них. Обычно юноши моего возраста просто общались с родителями, что нашли работу, и родители договаривались о посещении детьми вечерней школы. Но я не мог сказать родителям, что зарабатываю всего 300 рублей в месяц. В конце концов я стал ходить по разным рабочим клубам, представляться как "артист Уфимской оперы" и предлагать свои услуги как преподавателя народного танца за 200 рублей в месяц. Тут требовалось некоторое нахальство, однако обнаружилось, что я могу в трудные моменты произвести нужное впечатление. В результате я стал зарабатывать не меньше отца.

Одновременно симпатизировавшая мне пианистка — любительница балета попробовала добиться для меня специальной стипендии для учебы в Ленинграде. Она послала в Москву в Министерство культуры несколько писем с подписями видных уфимских деятелей. Около полугода ответа не приходило. Между тем, жизнь не стояла на месте. Накануне весенних экзаменов в десятом классе мне впервые предложили очень маленькую партию в балете "Польский бал". После спектакля я не мог заснуть — так велико было возбуждение от мысли, что я хоть ненадолго попал на настоящую сцену.

Я был совершенно уверен, что провалюсь на экзаменах и даже не потрудился поискать свою фамилию в списке сдавших. Приятель сообщил мне, что я провалился. Родителям я ничего не сказал (может быть, они до сих пор думают, что с теми экзаменами все было в порядке), а когда через пару дней Уфимская опера предложила отправиться на месяц в гастрольную поездку по Башкирии, с радостью согласился. В конце этого месяца на заработанные деньги и сбережения я решил съездить в Москву.

Денег хватало, чтобы провести в Москве три дня — при условии ночевки на вокзале или на скамейке в парке. Но меня это не смущало.

Как мне повлилась тогда Москва! Я приехал в середине августа. Театры и концертные залы были закрыты. Но я без устали ходил по городу, пока ноги не отказывали. В огромном городе можно было встретить самых разных людей. Никогда прежде я не видел представителей столь многих рас, национальностей, такое множество человеческих типов. Когда потом мне довелось выбирать между работой в Большом или Кировском театре, решающую роль сыграло это, первое общение с Москвой.

На следующий год я стал практически постоянным артистом Уфимской оперы. Хотя у меня совсем не было классической балетной подготовки, директор театра зачислил меня в кордебалет. Я начал посещать занятия труппы. К этому времени был получен ответ из Ленинграда, и я очень беспокоился, сумею ли я удовлетворить ленинградским требованиям. Занятия в кордебалете оказывались очень кстати. Я не всегда понимал смысл упражнений, но мог сравнительно легко воспроизводить движения других танцовщиков. В тот год я работал как сумасшедший! Меня вдохновляла мысль о желанной стипендии.

К концу года пришел вызов из Ленинграда. Директор пригласил меня в кабинет и сказал: "Руди, на тебя поступило одиннадцать жалоб в связи с плохим поведением и недисциплинированностью. Тебя следовало бы выкинуть за дверь. Но я предлагаю тебе должность штатного танцовщика". Он думал, что я от радости подскочу до небес. Но передо мной стоял образ Ленинграда, и я ответил отказом. В это же время проводился отбор танцовщиков для участия в важном мероприятии — декаде башкирского искусства в Москве. Я решил принять в нем участие и показать всем, на что я действительно способен.